

## НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКЕ УГРОЗЫ

Один из основоположников этнолингвистики Б. Уорф считал, что «несомненно наличествует связь между языком и остальной частью культуры общества, которое этим языком пользуется, существуют связи между применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которое принимает развитие культуры» [1, с. 165]. Из всего разнообразия определений понятия «культура» для позиционирования предлагаемого исследования существенным представляется мнение И. И. Токаревой, которая отмечала, что культура – это мыслительный настрой или ментальная рамка, создаваемая общими ценностями, верованиями, символами, идеалами [2, с. 16]. Из этого определения следует, что постижение родной и иноязычной культуры происходит по-разному у носителей языка и у изучающих иностранный язык. Если члены конкретного языкового коллектива постигают свою национально-языковую культуру как неосознанно, в процессе социализации, так и сознательно, изучая язык и связанные с ним культурные модели, то изучающие иностранный язык – постигают иноязычную культуру прежде всего через язык и связанные с ним культурные модели. К последним можно отнести и существующие в каждом языковом коллективе речемыслительные стереотипы, которые находят свое отражение в особенностях вербализации содержания средствами данного языка и в особенностях восприятия и декодирования вербализованной информации («контента»).

Различные лингвокультуры часто противопоставляются по таким общим характеристикам, как особенности восприятия и организации пространства и времени, преобладание индивидуалистических или коллективистских тенденций в общении, уровень контекстуальности (контекстности) и связанное с ним преобладание функциональной или смысловой (информативной, семантической) нагрузки коммуникативных единиц. Параметр «контекстуальности» культуры был введен Э. Холлом, который выделил две разновидности культур по их отношению к использованию контекста – высококонтекстуальную и низкоконтекстуальную, где под контекстом понимается информация, сопровождающая высказывание [3]. Представители первой при интерпретации сообщения имеют тенденцию полагаться на внеязыковой контекст, что во многом связано с особенностями исторического развития и традиций. Для представителей низкоконтекстуальных культур характерна прямая вербализация смыслов при незначительной доле невербальных форм общения и, как следствие, повышенная функционально-прагматическая нагрузка коммуникативных единиц.

Анализ менасива на основании таких теоретических предпосылок позволяет получить новые представления о национально-культурных особен-

ностях категории угрозы. Первый этап исследования состоит в анализе словарных дефиниций глаголов со значением 'угрожать' в русском, английском, французском, испанском и шведском языках. Обращение к глаголу обосновано тем, что именно глагол в языковой системе есть имя действия. Обращение к дефинициям – тем, что именно словарные статьи в наиболее четкой и канонизированной форме дают нам информацию о том, как может выражаться и интерпретироваться угроза представителями той или иной лингвокультуры, они отражают ментальную рамку, соответствующую данному фрагменту национально-языковой картины мира.

Прежде всего, обращает на себя внимание, что не для всех глаголов словарные дефиниции фиксируют вербальный речеактовый характер угрозы. Наиболее четко это отражено в дефиниции английского глагола *threaten*: «to say that you will cause someone harm or trouble if they do not do what you want», «to say that you will cause trouble, hurt somebody, etc. if you do not get what you want» 'сказать/говорить, что...'. Как акт говорения угроза понимается в русском языке, где дефиниция глагола *угрожать* – это «предупреждать с угрозой о чём-н.», «предвещать (что-н. плохое, опасное, неприятное)», «произносить угрозы...». Угроза в шведском языке предстает как коммуникативный акт, который не требует обязательной вербализации: «med ord l. åtbörder tillkännagiva sin avsikt att tillfoga (ngn l. ngt) ngt ondt» 'словом или жестом объявлять о своем намерении причинить какое-то зло'. В романских лингвокультурах вербальный характер угрозы или оказывается частично скрыт, как в испанской дефиниции: «dar a entender a alguien la intencion de causarle algun mal, generalmente si se da determinada condicion» 'намекнуть кому-либо о намерении причинить зло либо вред при наличии определенных условий', или, как во французской лингвокультуре, вообще выводится за рамки дефиниции глагола: «chercher á *intimider* par de menaces» 'пытаться запугать угрозами', и дефиниция соответствующего существительного *угроза* говорит только о некой «манифестации», «проявлении». Интересно, но только в русской и французской дефинициях глагола имеется обращение к существительному *угроза*.

В рамках лингвопрагматики угроза рассматривается как средство воздействия говорящим на адресата с целью изменения его поступков или эмоционального состояния путем апелляции к чувству страха разной интенсивности и природы. Однако, целеполагание менасива по-разному отражено в анализируемых дефинициях глаголов. Так, в шведском языке понимание угрозы представлено в отрыве от ее прагматического назначения, в терминах типологий речевых актов она может быть определена как декларатив: «...объявлять о своем намерении причинить зло». Близка к такой интерпретации и испанская дефиниция «намекнуть о намерении причинить зло...», в ней обнаруживаются признаки угрозы как косвенного речевого акта. Согласно английским дефинициям цель ожидаемо должна быть более конкретизирована «...если не сделать того, что хочет [адресант]», т.е. цель состоит в том, чтобы адресат выполнил требование адресанта. В терминах

лингвопрагматики она представляет собой сложный речевой акт, включающий комиссив (обещание адресанта причинить вред) и директив (требование к адресату). В русских словарных дефинициях содержится указание на воздействующий характер менасива, но цели не конкретизированы: «...добиваясь чего-то». Весьма своеобразным является понимание воздействующей составляющей угрозы во французской лингвокультуре. Цель угрозы – «запугать», а сама угроза описывается как некая «манифестация/проявление» гнева с тем, чтобы заставить бояться. Можно говорить о деятельностно-ориентированном характере менасива и эксплицитной маркированной эмоциональности угрозы.

Вышеописанные отличия в семантических и прагматических характеристиках менасива коррелируют с уровнем контекстуальности соответствующих лингвокультур. В низкоконтекстуальной англоязычной лингвокультуре в языковом сознании носителя языка «ментальная рамка» включает две составляющие угрозы: собственно обещание причинить вред и требование к адресату, выполнив которое он может избежать негативного воздействия. В менасивных англоязычных высказываниях ожидаемо преобладание функциональной нагрузки – это способ достижения цели, которая состоит в некотором действии адресата. В «ментальную рамку» представителя высококонтекстуальной русскоязычной культуры угроза входит через свое семантическое ядро – обещание причинить вред, или, точнее, предупреждение о возможности причинения вреда, в то время как требуемое от адресата действие может оказаться не вербализированным или даже не имплицитным. Из этого следует, что в русскоязычной культуре менасивные высказывания характеризуются доминантой смысловой нагрузки. Романские языки и шведский язык пока еще реже становятся объектом сопоставительных лингвокультурологических исследований и не получили своего детального описания по параметру контекстуальности. Но анализ отдельного фрагмента этих лингвокультур позволяет говорить о доминанте семантической нагрузки в шведском языке, некотором балансе функциональной и семантической нагрузки в испанском языке и проявлении эмоциональной нагрузки во французской лингвокультуре. Эти три языка по особенностям представления угрозы могут характеризоваться как переходные от высококонтекстуальных к низкоконтекстуальным культурам.

Таким образом, можно утверждать, что, при схожести семантики угрозы во всех четырех лингвокультурах, соотношение, баланс семантической и прагматической составляющих имеет явную национально-культурную специфику.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Уорф, Б. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б. Уорф // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып. I. – С. 135–168.

2. Токарева, И. И. Этнолингвистика и этнография общения / И. И. Токарева ; Минск. гос. лингвист. ун-т ; под ред. Ф. А. Литвина. – Минск, 2001. – 244 с.
3. Холл, Э. Как понять иностранца без слов / Э. Холл, Дж. Фаст. – М. : Вече ; АСТ, 1997. – 246 с.

**Ю. А. Евграфова** (Москва, Россия)

*ПО УШИ ПЛЫТЬ, А У МИЛОЙ БЫТЬ:*  
**ЛЮБОВЬ В МУЖСКОЙ КАРТИНЕ МИРА**  
(на материале паремий английского, валлийского,  
гэльского и англо-шотландского языков)

Любовь можно отнести к «универсальным» чувствам – на биологическом уровне оно порождается в определенном участке головного мозга, сопутствуется рядом психологических процессов и имеет свой культурно-универсальный «механизм» действия. Национально-специфическое обнаруживается при его семантизации и вербализации в языке.

В данной работе предпринята попытка исследовать языковую картину мира (мужскую) британцев, состоящую из языков исторического населения Великобритании: английского, валлийского, гэльского (ирландского, шотландского) и скотса, этнокультуры носителей которых, несмотря на общность исторической судьбы, не слились в единую, а имеют каждая свои национально-специфичные представления и стереотипы.

Любовь мужской картины мира британцев представлена разнообразным набором паремиологических единиц. Например, в них затрагиваются, отношения между мужчиной и женщиной вне брака: (английский) *He who loseth a whore, is a great gainer* [1, p. 45] ‘Тот, кто теряет блудницу, счастливчик’; мужчине дается совет, как себя вести, чтобы завоевать женщину: (валлийский) *Gwell gwraig o'i chanmawl* [2, p. 21] ‘Похвали женщину и ты вырастешь в ее глазах’; упоминается также любовь в браке: (гэльский) *Socraichidh am pòsadh an gaol* [3, p. 349] ‘Женитьба оплакивает любовь’. Модель отношений между мужчиной и женщиной является не единственной, через которую происходит вербализация любви. Обнаруживается прямое описание того, что происходит внутри у влюбленного: (скотс) *A woman's love will traise further than horses* [4, p. 30] ‘Любовь к женщине тянет дальше, чем лошади’; перечисляются поступки и действия влюбленного мужчины, имеющие отрицательную коннотацию: (скотс) *He got the knights bone off her* [5, p. 108] ‘Соблазнил до свадьбы’.

Приведенные примеры демонстрируют, что в паремиях исследуемых языков любовь репрезентирована как реакция на стимул, порождающая некие действия и поступки (реакция, направленная «во вне»), а также как психологические и духовные переживания (реакция внутренняя). Таким образом, можно говорить о том, что в мужской картине мира британцев любовь представлена как пространство: внутреннее (эмоциональное состо-